

СОРОК НА ПЯТЬДЕСЯТ

Весною в городе пахло будущим летом, воздушным солнечным золотом, а звуки напоминали весёлую речь иностранца. Она непонятна и потому похожа на укутанное в слова молчание.

Ливушка выходила вечером на балкон и слушала апрельскую тишину. Пальцами, похожими на крепкие карандашики, она пощипывала мочку уха, прислушивалась и принюхивалась. С детства у неё такая смешная привычка: морщить гладкий красивый носик и вдыхать по-собачьи запахи. Небо пахнет свежими васильками, клён у подъезда – засохшими булочками со сладкой маковой начинкой, стёкла окон в доме напротив – подтаявшим снегом.

Мама смотрела на Ливушку, морщившую носик, и улыбалась:

«Моя дочка идёт по следу».

– Не смейся надо мной!

«Что ты! Я тебе помогаю!»

– Когда найду то, что ищу, я позову тебя первую.

«Надо дождаться. Я тебя обязательно услышу».

В день маминых похорон с утра светило солнце, а потом пошёл дождь. Солнце и дождь ничем не пахли. Пахло чёрной сырой землёй, которую жирно резали лопатами. Мамина могила казалась Ливушке внезапной остановкой на длинном, бесконечном пути. Вот-вот стихнет траурная музыка, закончатся речи, и они с мамой пойдут дальше.

Даже сейчас, восемь лет спустя, вечером на балконе, она слышала запах её шагов. Словно ноздрей коснулся свежий ветерок, вылетевший из крепкого, сочного леса.

В этом году Ливушке исполнилось сорок лет, и в её карих глазах появилось выражение тревоги. Об этом сказал её приятель Тютрюмов,

художник и неунывающий оптимист. Он писал пейзажи, и Ливушке всегда казалось, что она слышит запахи, которые источают река, лес или цветы на его молчаливых картинах. Она долго не могла понять, кто ей нравится больше: Тютрюмов или его пейзажи? Его спокойный голос, уверенные руки, приветливое лицо окутывали её лёгким облаком чувственного томления. А простые картины напоминали детские мечты, которые волнуют своей забытой наивностью. Выбор затягивался. Ливушка не могла решить, что здесь важнее? Пока однажды не поразила своему маленькому открытию. Ей нравилась она сама, нравилось как она ошеломлена этим выбором и парит благодаря ему на качелях. Вверх – Тютрюмов, вниз – нарисованные художником сосны. Или наоборот: вверху зимний пейзаж, а внизу художник.

И она успокоилась. Тем более что Тютрюмов сам написал её портрет. Ведь это была новая высота, куда вознеслись качели. Ливушка очень ждала, как он передаст тревогу в её глазах.

И не поняла замысла художника.

Портрет был небольшой, сорок на пятьдесят сантиметров, выполненный маслом. Художник преподнёс его своей подруге в годовщину их знакомства.

Ливушка была изображена весьма точно, но без эмоций на лице и без возраста. Девочка-женщина, рассматривающая что-то за рамками портрета. Выражение её глаз скрывали очки, которые сама она надевала редко, когда хотела казаться серьёзной.

– Тебе нравится? – спросил Тютрюмов.

– Господи, конечно! – она всплеснула руками. – Только зачем очки?

Художник задумался.

– Редкое сочетание вечной наивности и женской зоркости, – наконец сформулировал он.

«Значит, у него свои качели, – подумала Ливушка. – Ну и бог с ним, он талантлив, пусть пишет, как хочет».

Фраза о тревоге в глазах быстро забылась. Скорее всего, ничего такого и не было, подытожила Ливушка. Но стала реже заглядывать в зеркало.

В тот день к вечеру пошёл сильный дождь. Шумно падающая с неба вода источала запах крепкого мужского тела. Ливушка мелкими шажками бежала от остановки троллейбуса к дому и вздрагивала, когда мокрые капли попадали ей на лицо и руки, охлаждали и одновременно обжигали кожу.

В подъезде было темно, лампы на этажах не горели. Ливушка взбежала на свой пятый и различила у окна мужскую фигуру. Неизвестный в короткой куртке стоял спиной к ней, подтянутый, с ровными плечами, прямой спиной, подростковыми бёдрами и правильными, как у балетного танцора, ногами. Даже подъездный мрак не скрывал этого великолепия.

Ливушка замерла на последней ступеньке. А вдруг это наркоман или насильник?

Он обернулся. Лица она, само собой, не разглядела, но ей вдруг понравился скрип кожаной куртки и спокойствие неизвестного. В голове всё понеслось куда-то в сторону и Ливушка пролепетала:

– Ваня? Тютрюмов? Ты чего здесь?

– Смешная фамилия. Но я не Тютрюмов. Я Ларькин.

– Тоже смешно.

– Почему?

– Как недостроенный магазин. Ларёк с низким окошком.

Ей на самом деле становилось всё веселее и веселее. Мужчина был безопасен, она это почувствовала, а голос у него – как у давнего знакомого, к которому так приятно ходить в гости или приглашать к себе на праздники. Мужчина выговаривал букву «у» как «ю», а «о» было похоже на «ё».

Надо было идти в квартиру, замерзали промокшие ступни и сырые волосы на голове требовали немедленной сушки. Но Ливушка, сама не понимая чего, ждала от стоявшего у окна Ларькина.

Он отвернулся, скрипнув курткой, и вдруг заговорил. Она слушала, немного волнуясь и в то же время заинтересовываясь происходящим с присущей ей наивностью.

– Шёл мимо вашего дома и вдруг нырнул в открытый подъезд. Поднялся сюда, на пятый этаж, – голос у Ларькина был спокойный, но как бы уставший. Она подумала, что у мужчины или что-то болит, или с кем-то из близких случилась беда. – Встал здесь. Задумался... Вы не обращали внимание, что человек у окна чаще всего вызывает тревогу или необъяснимую печаль?

– Нет.

– Или мысль о загадке?

– Да, наверное. Во всяком случае, силуэт у окна что-то значит.

– Но это иллюзия. Просто воображение работает и заколдовывает зрителя.

– Понятно. То есть вы хитрец, расставляющий ловушки доверчивым зрительницам?

Ларькин ничего не ответил.

Темнело. Тишина лестничного пролёта и слепой блеск окна пахли старыми книгами, давно забытыми на книжной полке и никем не читаемыми.

«О чём я думаю?» – удивилась Ливушка.

– Я знаю, о чём вы думаете. О прошлом, которое не находит дорогу к настоящему.

Она вздрогнула и переспросила:

– О чём?

Мужчина повернулся и вдруг начал рассказывать историю о какой-то девочке, которой было хорошо в детстве и которая больше всего на свете любила цветы и большие деревья в лесу. Те и другие казались девочке друзьями, тянувшимися к её глазам и ушам, чтобы поведать красивую и добрую тайну. Но, подрастая, девочка стала замечать, насколько окружающие люди безжалостны к цветам и деревьям. Как защитить своих друзей? Как дослушать их рассказы о великой тайне? Девочка росла, взрослела, из жизни уходили близкие люди, их никто не мог заменить, а вот вместо увядших на клумбе цветов и старых деревьев в лесу вырастали новые. То есть всё в жизни шло обычно и всё было не так, как должно быть. Выросшей девочке хотелось, чтобы эта карусель крутилась по-другому, но подсказок от жизни не было. Она продолжала забирать самое дорогое, оставляя совсем ненужное. И стало понятно, какая это безжалостная и равнодушная карусель. Смертельная механическая игрушка.

И подросшая девочка в конце концов почувствовала серое одиночество, к которому всякого человека приводят загадки без отгадок.

«Скоро, очевидно, начнут исчезать и звуки, полные никому не ведомых запахов».

– О чём вы говорите? – воскликнула она, поняв, что последнюю фразу незнакомец произнёс вслух. Это была её мысль, откуда-то известная непонятному Ларькину.

– Счастливые люди, вроде вас, по ошибке считают себя несчастными, – он сказал это уверенно, как похожую на круг или квадрат аксиому, фиксирующую, что дважды два равно четырём и «жи-ши» пишется с буквой «и».

– И что делать?

Ларькин устало вздохнул:

– Почему бы однажды не поменять то, что понятно, на неизведанное?

– Как?

– Пригласите меня к себе домой.

Ливушка невольно сделала шаг назад, словно от резко полыхнувшего костра.

– Не надо думать о всяких глупостях, – мужчина как бы скомандовал и даже не поинтересовался реакцией девушки. – У вас дома много картин вашего друга, художника?

– Вани Тютрюмова?

– Именно. Я покажу вам кое-что на одной из них.

– Где?

– На вашем портрете.

В квартире Ливушка зажгла свет и быстро скинула промокшие туфельки. Ларькин разулся, повесил кожаную куртку на плечики, вежливо ждал. Девушка рассмотрела его красивые, тёмно-каштановые волосы с проседью и полные внутреннего жара почти чёрные глаза. Вообще, лицо у гостя было как будто давно знакомое (но так ведь и сразу показалось!) и очень лёгкое.

Она нащупала тапки, надела их, потом стала искать на полочке что-нибудь подходящее для мужчины.

Но Ларькин ушёл уже в большую комнату, тапки его не интересовали.

Ливушка поспешила за своим гостем, внезапно подумав: «Тишина в моём коридоре после него пахнет моими духами. А я ими сегодня не пользовалась. Наваждение какое-то!»

Гость стоял, сложив руки на груди и забросив голову назад, перед её небольшим портретом. Тем самым, подаренным год назад. Ливушка опять подумала малюсенькую глупость: «Словно он стоит здесь давным-давно, лет пять или десять. Кажется, я ненормальная!»

– Идите сюда, – позвал мужчина и, дождавшись, когда она встанет рядом, продолжал. – Так я и думал. Холст, масло, сорок на пятьдесят.

– О моём портрете?

Ларькин неожиданно сказал: «Браво!» – и стал кружить по комнате. Девушке нравилось, что он так кружит, потому что портрет его взволновал, он не скрывает этого, не демонстрирует, а просто-напросто уверенно переживает искренний восторг. Но что говорить, она не знала, потому что портрет был её и разговор о самой себе казался ей невежливым.

– Мне пятьдесят лет, – гость стоял напротив, очень близко, и глаза его разгорались всё туманнее. – А вам?

– Мне? Сорок.

– Сорок на пятьдесят. Холст, масло. Понимаете?

– Что?

– Что вам и мне сорок и пятьдесят лет. Масло ложится на холст. Метафора, образ, иносказание. Ваш Тютрюмов волшебник. Он всё

зашифровал для вас и для меня. Нам надо взломать, прочитать этот код и быть вместе.

– Вы сумасшедший?

– Я верю в художественное чудо. А вы?

– Наверное, я вас не понимаю!

Мужчина подошёл к висящему на стене портрету и поднял к нему руку.

– Сейчас объясню, – он торопился говорить, и Ливушка заметила, что говорящий волнуется. – На портрете вы смотрите вправо, словно видите что-то там, за рамкой. Я смотрю на портрет и начинаю волноваться: что же привлекло её внимание? Естественно для зрителя, когда портрет обращён вниманием к нему. Тогда через себя зритель понимает нарисованное и наоборот: через портрет, его лицо, глаза, настроение – понимает себя.

– Как-то сложно.

– Стандартный приём. Например, портрет чаще всего рисуется с поворотом головы направо. Если художник рисует голову, развернув её налево, это тревожит зрителя. Потому что такой взгляд необычен.

Девушка тоже начинала ощущать волнение. Оно было таким странным, утробным, то есть рождающимся не в голове или в груди, а почти в животе, оно приятно растекалось от ягодиц к пояснице и тёплыми волнами разворачивалось в животе. Ещё ей показалось, что у неё начинает полыхать кожа на ногах и краснеют колени.

Ларькин снял портрет со стены и поднёс ей ближе к лицу:

– Вы что, близорукая? Плохо видите?

– Нет!

– Тогда зачем очки?

– Ну, как бы образ романтической и зоркой натуры.

– Какая чепуха! – он хлопнул себя по бёдрам. – Ваш друг Тютрюмов просто отвлек ваше внимание. Вы ему нравитесь, и он не хотел, чтобы вы до конца поняли идею портрета. И поняв, тем самым изменили бы художнику.

Ливушка чувствовала, что с трудом держится на ногах и, кажется, не понимает слов своего гостя. Её окутывал туман его чёрных глаз и бередил глубокий голос.

– Перестаньте, пожалуйста! – в её голосе была неуверенность и просьба о продолжении.

Мужчина развернул портрет к себе и слегка прищурился. – Знаете, на кого вы смотрите, стоящего там, за рамками портрета? – он заговорил тихо, словно не желая испугать кого-то невидимого, за рамками. – На меня. Там стою я, вы видите меня, в вашем подъезде у окна, в чёрной кожаной куртке и внимательно вас рассматривающего. Великолепно, да? Сорок на пятьдесят. Вы смотрите на меня, а я смотрю на вас. Но вот рамки ломаются, холст рвётся, мы бросаемся навстречу друг другу и, обнявшись, замираем в тишине, пахнущей нашим горячим дыханием.

Они целовались долго, с упоением и осторожностью. Ливушке нравились его очень аккуратные губы, как бы неторопливые и вкрадчивые. В этой аккуратности и вкрадчивости грозовой лиловой тучей набухла чувственность. И ещё девушку волновало её собственное дыхание, невероятное длинное, упругое и сочное, складывающееся в жаркую бесконечность из коротких, как блеск возбуждённых глаз, молний.

Потом она вырвалась из его тёплых и сильных рук и сбежала в ванную. Время ушло прочь и не хотело возвращаться. Плохо помня себя,

Ливушка сбросила тапки, мокрую одежду, ставшее вдруг липким тонкое бельё, включила воду и встала под шелестящий отчаянно душ. Голые плечи сосала, словно сказочная добрая змея, струя воды, она стекала воздушным прозрачным вином по бёдрам и зеркально пузырилась вокруг пальцев ног.

– Сорок на пятьдесят... Сорок на пятьдесят... Сорок на пятьдесят... – Ливушка не слышала своего голоса за хлётским водопадом душа. – Хулиган Тютрюмов... Волшебник Тютрюмов... Гений Тютрюмов!..

Ей казалось, что она смеётся, хотя на самом деле она плакала и давила сладкими и горячими слезами, как пятнадцатилетняя дурочка.

Утренний свет не отрезвил ни её, ни гостя. Кажется, были кофе, следы укуса на плече, возможно, даже выкуренная сигарета. Звонил телефон, кипит от собственной настырности и бестолковости. Ливушка думала о том, что надо вставать и ехать на работу, но всё это было так нелепо, так неважно, так глупо и так далеко.

Проснувшийся Ларькин хорошо сказал:

– Доброе утро, Ливушка!

Ну да, а потом чуть ли не до крови укусил её в плечо! Она взвыла покошачьи, рысью набросилась на мужчину, и оба больше часа душили в объятьях, рвали и мяли друг друга прямо в постели.

Какая могла быть после этого всего работа?

На портрете её лицо в копне белых волос теперь смотрело прямо. Очки пропали. Это было так странно и вдруг так ясно и очевидно, что не хотелось рыться в рухляди и тряпье возможных объяснений свершившегося чуда.

По потолку, клубящемуся и словно набиравшему воздуха для дыхания, мягко плыли солнечные лучи. Она лежала у него на плече и любовалась золотым цветом обычно белого и плоского потолка.

– Поедем в воскресенье на могилу моей мамы? Я хочу, чтобы она услышала, как я счастлива.

Он кивнул. Она вдруг взволновалась:

– Слушай! Как ты вчера сказал?

– О чём?

– О понятном и непонятном?

Он обхватил её правую бровь губами и что-то произнёс.

– Что? – она вырвалась от его губ и сверкнула глазами. – Я не расслышала.

Он стал серьёзным и медленно повторил:

– Почему бы однажды не поменять то, что понятно, на неизведанное.

– Вот что! Понятное на неизведанное!.. – она почти вздрогнула. – Я так счастлива, веришь?

Он вновь кивнул. Она вздохнула и опять легла к нему на плечо. Белокурая девушка на портрете, сняв ненужные очки, смотрела на них прямо и совсем равнодушно. Очевидно, она устала всматриваться туда, за рамку, и теперь, дождавшись свободы, отдыхала. По потолку продолжал плыть солнечный свет, и золота в комнате становилось всё больше и больше.

ПЕЛЕНА РАЗУМА

С утра подморозило, воздух стал скупым и чистым. Городские улицы притихли, словно ожидали чего-то редкого, прекрасного, почти невозможного. Стало заметно, что над домами есть небо. Оно светилось намекая, что где-то там есть ещё и солнце.

У булочной разгружали грузовичок-фургон, и в воздухе пахло горячим хлебом.

К обеду в городе NN выпал настоящий снег.

Придя на работу, Теплов заварил себе кофе, сел с горячей чашкой за стол и вынул смартфон. «Почему не звонишь?» – он набрал сообщение и отправил его Лане. Потом добавил селфи: он грустный, и в глазах ожидание. Ответа не было. А он представил: «Позвоню. Обязательно», – и улыбнулся.

Теплов протёр пластиковый экран носовым платком и с удовольствием выпил кофе. Потом ему принесли дизайн-макет готовящейся книги, и он занялся делом.

Иногда его взгляд падал на редакционное окно, на раме которого снизу росли седые горки. Снегопад усиливался и обещал через несколько часов погрузить город в белый сон.

Теплов наперекор своей фамилии любил зиму, морозы и снег. Может быть, потому что родился в январе. Обожал прилагательные «ледяной», «хрустальный», «прозрачный». Ценил тишину и одиночество. В работах иллюстраторов отдавал предпочтение графике, твёрдой линии и чёрно-серо-белому пространству. В нём он предчувствовал глубину, намёк на тайну, устроившую этот мир. Цвет не занимал его воображения. Макеты цветных книжных обложек подписывал почти не глядя, на нецветные подолгу засматривался, погружаясь в медленные размышления.

Никто не трогал его в эти минуты. Теплов изучал чёрно-белый макет, осторожно касался его пальцами, склонял голову набок и щурил глаза. Лицо его светилось, а губы шевелились, как у медиума, ведущего тайную беседу с духом будущей книги.

Конечно, никто не считал Теплова сумасшедшим. Более того, даже не думал, что он когда-нибудь им станет.

Но от судьбы не убежишь, она точна и беспощадна.

С Ланой, родной сестрой своего школьного друга Саши Конвертова, поэта и художника, он был знаком давно. Ей шёл тридцать второй год, у неё был шестилетний сын Лука: Лучик, синеглазый и молчаливый тихоня, полная противоположность шумной и экспрессивной маме с огромными карими глазами, горевшими неиссякаемым, вулканическим пламенем. Ещё Лана носила крупнокольчатые ожерелья и серебристые серьги овальной формы, размером со страусиное яйцо. Бижутерия сверкала и звякала, когда девушка крутилась во время разговора, взма-

живала руками или поводила плечами. К тому же Лана вечно ломала каблуки на туфлях, била кофейные чашки и теряла мобильники. Замужем она никогда не была. Или, как казалось Теплову, забыла мужа однажды где-то в бренчащей серебром суматохе. Из своего сорокалетнего чёрно-бело-серого неподвижного одиночества он смотрел на Лану как на слишком яркую и обманчивую картинку, на крикливый гляцевый постер. Относился к ней ровно, вежливо-равнодушно и настороженно.

Но судьба всё-таки беспощадна, что говорить.

Минувшей весной отмечали день рождения Саша-художника, вечером Теплов пошёл проводить Лану и её сынишку. Задержался за прощальной чашкой чая на кухне. Мальчик давно спал в своей комнатке, а взрослые всё болтали и болтали и не могли оторваться от беседы. Теплов неожиданно перестал оберегать своё одиночество, а девушка стала тихой и задумчивой. Карие глаза её не жгли, а тихо светились, причём свет этот вызвал у него желание говорить просто и откровенно. Простота и откровенность легко перешли в заинтересованность. Лана и Теплов сами не заметили, как замолчали и стали целоваться. И так же просто и откровенно, ни о чём не спрашивая друг друга и не стесняясь, оказались в постели.

Потом, уже успокоившись, долго лежали в тишине и обманчивой темноте, осторожные и заботливые. Теплову не хотелось, чтобы наступало утро, он разглядывал дальний угол комнаты, чтобы не видеть светящегося окна.

Так прошло больше получаса.

Лана вздрагивала, если он вдруг шевелился и касался её тела, легко вздыхала и немножко плакала.

Теплов думал о счастье.

Всё казалось таким странным и в то же время давно знакомым.

Осенью Теплов одолжил новой подруге денег, и она улетела с сыном отдыхать в Египет. «Тут хорошо и в воздухе пахнет сладостями. Лучик в восторге», – Лана присылала короткие эсэмэс. «Я люблю вас всё больше и больше», – отвечал Теплов. Он купил огромный плакат с изображением пустыни и пирамид и приклеил его над рабочим столом в издательстве. Постер был нецветным и очень стильным. Казалось, что пирамиды и песчаные барханы – органы живого тела, запечатлённые громадным рентгеном.

В последнее воскресенье октября самолёт с туристами вылетел из Египта на родину, в Петербург. Поздним вечером того же дня Теплов должен был встретить Лану и Лучика на железнодорожном вокзале в NN, куда приходил питерский поезд.

Около двух часов дня позвонил Саша. «Самолёт разбился. Ты понял? Твою мать! Зачем ты дал им деньги, сволочь?» Теплов почти не узнал товарища. Голос у того дрожал, хрипел и свистел, словно засорившийся кран в кухне. И разговор прервался так же неожиданно, как начался. Теплов набирал номер, но Саша не отвечал.

Съездив на вокзал и никого там не встретив, Теплов даже не удивился. Несколько раз позвонил Лане. Связи не было. Он прогулялся к её дому, понаблюдал за чёрными окнами.

Всё было ясно. Саша не соврал, так выглядели трагедия и смерть близко, рукой подать. Кошмарные и неправдоподобные.

С этого момента однозначность случившегося ошеломила Теплова настолько, что реальность очевидная, безжалостная, равнодушная лишила жизнь сути. Текли дни, он продолжал выполнять положенную работу, совершать привычные действия, переговариваться в конторе

с коллегами – и медленно уплывал куда-то далеко, в мёртвый океан, где не было воды, в мир, где не было ни света, ни тьмы, ни молчания, ни звуков. Довольно скоро и сама жизнь исчезла, превратившись в чёрно-белый постер. Всё пропало, хотя скорее всего пропал сам Теплов, но до него ещё не дошёл факт исчезновения, потому что он противоречил жизненному опыту и не совпадал с тем, что родилось недавно в душе одинокого сорокалетнего человека.

Потому что дорогое не теряется. Оно разрастается в столь огромное и вечное, что его перестаёшь замечать как воздух, которым дышишь пока работают трахеи, лёгкие, пульсируют нужные мешочки, мышцы и клетки в организме.

Прошла неделя.

Саша Конвертов ездил на опознание, потом были похороны. Теплов ничего об этом не знал. Он ждал, что Лана и Лучик со дня на день вернутся. Звонил улетевшей на курорт подруге и слушал мёртвую тишину в трубке.

На лице у Теплова появилось выражение мирной покорности, точь-в-точь как у больного, узнавшего смертельный диагноз. В издательстве его сторонились, но вслух или за спиной не осуждали. Однажды только кто-то тихо сказал: «А парень-то – тю-тю!»

Большинству казалось, что Теплов сник, а то и надорвался от боли. А он просто переместился в недоступную посторонним область сознания, где всё рухнувшее представлялось до идеала не отстроеным, а потерянное навсегда – просто не найденным.

В тот день, в день первого настоящего снегопада, он долго работал не отвлекаясь. Забыл, что Лана не звонит. Но вспомнил об этом, как только отложил дизайн-макет в сторону. Вышел в коридор, чтобы не мешать коллегам, достал смартфон и набрал номер. Опять безответная тишина.

Около восьми часов вечера он убрал бумаги со стола, спрятал макет и документы в сейф и спустился на лифте на первый этаж. В холле было полутемно и пусто. Охранник смотрел футбол. Теплов кивнул ему, прощаясь, и вышел на улицу.

Дойдя по привычке до дома Ланы, он присел на выбеленную снегом скамейку во дворе и стал смотреть в чёрные окна знакомой квартиры. Внезапно на него навалилась тоска. Чёрное небо и дребезжащий свет одинокого уличного фонаря были её глазами, шуршание падавшего на землю снега – эхом безжизненного голоса:

«Тоска...»

Внезапно ожил смартфон. Теплов знал, что так в конце концов и случится, и уже ждал этого звонка.

– Здравствуй, Тёпик. Как дела?

Ему показалось, что снежинки стали карими, шоколадно-твёрдыми.

– Снег. Сегодня идёт не переставая. Красиво в городе.

– Тут у нас тоже хорошо.

– Вы когда вернётесь?

Лана не ответила.

– Ты меня слышишь?

– Только не нервничай. Мы пока побудем здесь.

– Пока?

– Я не хотела тебе говорить. Что-то у нас с тобой не получилось. Может, из-за меня. Или с тобой что-то не так. Сначала было хорошо. А потом стало страшно. Всё так – и всё как бы не так.

– Откуда ты знаешь?

– Ты ведёшь себя, словно нищий. Думаешь, женщинам нужны нищие?

Помолчали. Снежинки опять побелели и стали падать бесшумно и беззвучно, чтобы не мешать разговору.

– Мне плохо без тебя.

– Не выдумывай, Тёпик. Плохо без глаз или без ног. А без бабы можно обойтись. Ты дома?

– Вроде того.

– Тогда выпей водки и ложись спать.

– Лана...

– Чао, Тёпик. Спокойной ночи. И не звони мне больше, пожалуйста.

Теплов сидел на скамейке в чужом дворе больше часа, не зная, что делать. Он не расстроился. Он успокоился. Так бывает всякий раз, когда любовь сменяется нежно затухающим воспоминанием о любви.

Да-да. Влюблённым не суждено страдать. Ведь они ещё долго наслаждаются воспоминанием о своей влюблённости.

Снегопад, сыпавший весь день, сошёл на нет. Ночь действительно предлагала горожанам успокоиться, на чёрно-белых улицах было темно и тихо. «Хорошо, что я не спорил с Ланой, – думал Теплов, шагая по узким и мохнатым от снега тротуарам. – Хватит дурить. И вообще надо взять себя в руки и удалить её номер из смартфона. Как бы то ни было, но каждый из нас – и я, и она – по-своему всё-таки счастливы».

Он остановился и задумался:

«Прошлое прекрасно до тех пор, пока оно остаётся прошлым. Только и всего».

Мысль ему понравилась. Он повеселел, сбил с ботинок снег и вошёл в свой подъезд. Не поужинав и даже не умывшись, лёг в постель и крепко уснул.

* * *

На следующий день его прямо с утра увезли в психиатрическую клинику и поместили в одиночной палате, предназначенной для тяжелобольных.

А снег в городе NN начал быстро таять и к вечеру исчез с улиц без следа.